ВИКТОР ПРОСИН.

**ТЫСЯЧА СТРАНИЦ.**

Историческая монопьеса.

*Единственное дело*

 *историка – рассказывать*

 *все так, как оно было*

*Лукиан*

*Действующее лицо:*

Михаил Микешин, скульптор.

(*Действие происходит в художественной мастерской*)

.

МИХАИЛ МИКЕШИН, в руках у него подрамник, обтянутый холстом. Он ставит его на мольберт. После недолгого раздумья переворачивает его в другое положение.

Пауза.

- Если долго смотреть на пустое полотно, то в голову приходят разные мысли. Чем заполнить эту пустоту? Будет ли новое не хуже старого? Живём в настоящем, думаем о будущем, и всё время оглядываемся на прошлое. Что мы без прошлого? Безымянная дорожная пыль...

Пауза.

Я, Микешин Михаил Осипович, оставил множество воспоминаний о своей жизни, которые были напечатаны в газете «Пчела», издаваемой мной, а также и в других российских художественных журналах. Вот, например. (*берёт газету, читает*) «Часто представляется мне прошлая жизнь моя - бесконечною лентой дороги, теряющейся в недосягаемой дали. Кажется, что прожил уже целое столетие. По сторонам этой жизненной дороги, там и сям виднеются луга, то с веселыми цветочками, то с могильными курганами и крестами. И сколько могил... А иногда, прикрыв усталые ресницы и бродя в воспоминаниях прошлого, как бы чувствуешь, что из собственного сердца и мозга как паутина, как нити какие-то натянуты, переплетены, перепутаны меж собою, и то там, то сям прикрепляются они к фактам прошлых чувств, мыслей и впечатлений. В какую бы сторону ни направился луч воспоминаний - там и задрожат эти воображаемые нити, затрепещут, забьются, и чувствуешь, как в мозгу или в сердце отдается боль, тревога или разольется ласкающее приятное ощущение. В такие минуты созерцания часто воссоздаешь себя, каким был лет двадцать или тридцать назад, и снова шевелится рой картин прошлого». (*перестаёт читать*)

В 1812 году Наполеон пошёл войной на Россию... Надеясь, что она принесёт славу французскому оружию и ему самому... Жители Варшавы с ликованием встретили Бонапарта. Был дан бал в помещении лучшего института для девиц в Варшаве, в котором, только что закончила свое образование и воспитание 16-летняя девица Анна Дмитриевна, из польского рода Бартошевич - Одолянских... Она рассказывала (*читает.)*: «Еще утром к ним явился маршал Ней с подарком - ящиком с длинными бальными парижскими перчатками, и предложил их всем воспитанницам. На самом балу, где был Наполеон, Ней и свита его, Наполеон пожелал, чтобы ему представили самую красивую из девиц. Это выпало на долю Анны, которую подвели к Наполеону. Наполеон вручил ей чайную розу...» (*перестаёт читать*)

Пауза.

Бал был пышным. Танцевали «Полонез», «Вальс», «Мазурку»... Музыка звучала громко и торжественно.

 - Qu'elle est belle! [ к э л ь - э - б э л ь ] - Как она прекрасна!

 - Merci pour le compliment,Sire [ м е р с и - п у р - л ё - к о м п л и м а н, СИР ] - Благодарю за комплимент, Сеньор.

 - Permettez-moi de vous engager pour се dance! [ п е р м е т е - м у а - д ё - в у з а н г а ж э - п у р - с ё - д а н с ] - Позвольте мне ангажировать Вас на этот танец!

 - Si vous voulez [ с и - в у - в у л е ] - Как Вам будет угодно.

Пауза.

Вскоре после бала за Анной приехала ее мать, переодела ее мальчиком, закутав до неузнаваемости, и с разными опасностями и затруднениями привезла её в Рославль.

Пауза.

«1812 год у нас в Белоруссии назвали «разоренным годом», и действительно, для нашего рода, Микешиных, этот год стер всё благосостояние нашей семьи».

Не смотря на это, двадцатидвухлетнему Осипу Микешину, выходцу из крестьянского сословия, судьба подарила встречу с Анной.

Пауза.

В тот же военный 1812 год во время венчания в их честь пел церковный хор: (*подражая хору*, *поёт*)

 Иссаие, ликуй,

Дева име во чреве

и роди сына Эммануила,

Бога же и человека.

Восток - имя Ему.

Его же величающе, Деву ублажаем.

Святии мученицы,

иже добре страдавше и венчавшеся,

молитеся ко Господу спастися душам нашим.

Слава Тебе, Христе Боже,

апстолов похвало и мучеников радование,

их же проповедь Троица Единосущная...

А священник певуче благословлял брак молодых: «Венчается раб божий Осип с рабой божьей Анной во славу Израиля!... Возвеличься, жених, якоже Авраам... Невесто будь плодовита как Сарра...»

Пауза.

Но молодым не пришлось насладиться медовым месяцем. Муж ушёл в партизанский отряд, защищать от французских мародёров русские деревни. (*читает*) «Жена его не раз выезжала на розыски своего мужа, подвергаясь немалым опасностям, гримируя красоту графитным карандашом и сажей, придавая себе вид старухи. В деревянном крытом возке не раз предпринимала опасные путешествия к Смоленску по дороге, полной неприятелем, стараясь узнать кое-что о своем муже, но все напрасно». (*перестаёт читать*) Осип был ранен и награждён серебряными часами с надписью «От полковника партизанских команд Фигнера». Еще ниже: «Партизану Рославльской конной дружины Иосифу Егоровичу Микешину». Так же молодому партизану довелось, идя за водой, увидеть неприятеля и услышать крик «Vive I'empereur!» («Да здравствует император») - это был Наполеон с отрядом...»

Пауза.

Всю жизнь Анна хранила в бархатном мешочке пыль от высохшей розы, подаренной ей Наполеоном, а Осип берёг наградные часы за бои с Наполеоном... Вот такие мои исторические и родственные корни, они переплелись туго и непредсказуемо, вопреки всевозможным обстоятельствам…

Пауза.

Бог наградил Осипа и Анну пятью детьми. После четырёх девочек, 9 февраля 1835 года в небольшой деревне Максимово на Смоленщине родился последним мальчик Миша...

Престарелая нянька Ганка, пела ему песни... (*напевает*)

Баю, баю, баиньки,

Придут медведи маленьки,

Схватят сынка за бочок,

Потащат его в лесок,

За ракитовый кусток.

Там охотники поют,

Сынку спать не дают.

Спи, сыночек, спи, спи,

Угомон тебя возьми,

Прилетят пичужки,

Сядут на веревочку,

Веревочка скип да скрип,

А сыночек спит да спит.

Пауза.

(*читает*) «Маменька с первых дней моего детства воспитывала меня в соблюдении всех обычаев и догматов православного христианства. Я много и часто молился и просил, и верил, и надеялся. Молясь, я не довольствовался твержением заученных молитв, а приходя в молитвенный пафос, импровизировал свои моления и излагал их перед иконами, обливаясь страстными слезами, и глубоко верил, что восхоти я в такие моменты, чтоб гора... и т. д., но мне не представлялось необходимости сдвигать горы, и вера моя мирно покоилась на этом сознании... За отцом моим, которого я день ото дня более и сильнее любил и уважал, была репутация «вольтерианца», но в описываемое мною время еще мы не были друзьями; ему был постоянный недосуг заниматься мной, а няня, Ганка моя, несмотря на свою преклонную старость и болезненность, в самые свирепые морозные ночи никогда не пропускала заутрень и всенощных...

Любил я ее после мамы больше всех, и в моем детском сердце ее некрасивая наружность и свирепый нрав породили впечатление, оставшееся и поныне и сложившееся в таком порядке; чем наружно безобразнее человек, встречаемый мною, тем лучше у него должна быть душа. Плакала моя старая нянька Ганка горючими слезами, снаряжаючи меня в народное училище нашего города Рославля.

- Куды же это майю Мищичку, - причитала Ганка, покрывая мою кудрявую голову поцелуями. - Что ж его учить, коли ён – и так и читать, и писать знает.

- Да что ж ты это, старая, - урезонивала ее моя мама, - как по покойнику причитаешь; его же не увезут от нас из города, ведь каждый день будешь его видеть. А сама мама вторила ей плачем, лаская и приголубливая меня.

Отец мой, глядя на них, добродушно посмеивался. А я? Плакал и я, что-то продолжительно «голося» и изредка отдыхая, чтобы набраться духу.

- Во, Тураевского Сеньку научили у школе уму-разуму, а ён у Отца Павла индыков покрав, - поясняла Ганка причину своих сожалений обо мне. - И не жалко вам выдумали вучить... навучыцца мальца, - свирепо огрызалась она на отца.

Мне было в ту пору лет 8 с небольшим. Был я мальцем здоровым и шустрым, но, воспитываясь в кругу девочек, сестер своих, я не только манерами, но и голосом и наружностью походил на них. К тому же, несмотря на то, что уже знал читать и писать, никак не мог освоиться с правилом родов, когда речь шла обо мне, и говорил, например: «Я сидела, я шла» и т. п., что в училище послужило поводом ко многим обидным для меня насмешкам...» (*перестаёт читать*)

Пауза.

Приходилось драться много и часто. Этим заработал себе эпитет «отчаянного». (*читает*) «Запомнились кулачные бои на речке Гузомойке и на городском озере были тогда в большой у нас моде. Сотни граждан, даже стариков бородатых, со своими детьми и внуками, стена на стену шли, кулаками отстаивая славу и честь своего конца города.

Много на моей детской памяти поломано ребер, повышиблено зубов и глаз на этих удалых боях! Били меня «как Сидорову козу», но этим только закаляли во мне то, что я называл силой воли и терпения, которым завидовали мои сверстники. Ввиду исправления моей нравственности применяло строжайшие меры школьное начальство.

Конечно, дома ни отец, ни мать, ни Ганка, ни сестры не только не знали об этих боевых похождениях, но и не подозревали даже о них.

Случалось, что в училище сажали меня в темный и сырой карцер, без обеда и притом - предварительно высеченного розгами. В эти дни, признаться, не редкие, Ганку о постигшем меня горе извещал один мой товарищ, бедный малый Лаврик, живший по соседству с нашим садом в полуразрушенной избушке. Как только Ганка получала такое известие, тотчас же стремилась к месту моего заключения, садилась у порога дверей и уже не отходила, хотя бы срок заключения продолжался целый день. Меня, конечно, спустя несколько часов начинал томить голод, но окон или каких-либо иных отверстий в карцере, кроме запертых дверей, не имелось. Над дверьми, неплотно приходившимися, была узкая щель, не шире одной трети дюйма, так что какую, казалось бы, провизию можно было доставить через такое отверстие. Любовь моей милой няни блистательно решила этот вопрос, и я бывал каждый раз очень вкусно и сытно накормлен. Она являлась с плошкой вкуснейших горячих блинов и, макая их в горячее масло и сметану, легко передавала их мне через узкую щель, стараясь усладить в то же время мое мрачное одиночество разговорами и сказками, которые были мне известны от нее чуть ли не с первых дней моей жизни.

Ежедневно проявляла она ко мне свое теплое чувство в разнообразнейших видах, зато же и любил я ее всем своим детским сердцем. В порыве чувства к ней я дал себе клятву озолотить ее (в буквальном смысле с головы до ног) и притом не иначе, как на средства, заработанные собственными руками.

Был у нас в городе еврей - переплетчик Мошка, работал он для монастыря и по частным домам. В особенности на его монастырских кожаных переплетах прельщали меня штампованные золотом на корешках арабески. Вот я и вознамерился заказать ему узорчатую золотую кожу, чтобы из такой кожи сделать Ганке золотые башмаки, а потом, мечталось мне, как-нибудь заработаю денег и закажу ей из золототканой материи, из которой шьют поповские праздничные ризы, - юбку, фартук, рубаху и повязку на голову. Средства к заработку денег у меня тогда были под рукой довольно рано, т. е. с 4-5-летнего возраста. Я чертил и рисовал все, что придет мне, бывало, в голову, так что к своему десятилетнему возрасту я уже довольно бойко (конечно, сравнительно со своими сверстниками) рисовал. И как только заметил, что некоторые сюжеты, изображаемые мной, начали обращать на себя внимание и любопытство товарищей, я и начинал в них себя совершенствовать, так что находились покупатели из числа моих богатых товарищей - сыновей соседних помещиков.

Самыми популярными сюжетами были: «гицыль», т. е. собачник - какая-то мрачная и для нас вполне таинственная личность. Другим сюжетом изображений была лихая тройка с бубенцами и погремушками, принадлежавшая временно тогда проживавшему в г. Рославле «барину Василию Александровичу Вонлярлярскому» (автору романа «Большая барыня» и пр.). Платили мне по 10 коп. и даже по 15 коп. (на ассигнации) за экземпляр, и эти заработки поступали в мамину копилку для озолочения няни Ганки.

Кожа на ботинки была куплена лучшая, козловая, и оплачено было еврею переплетчику за тиснение ее золотыми узорами, а башмаки уже заказаны были искусному башмачнику - горчайшему пьянице...» (*перестаёт читать)*

Но сапожник подвёл, тянул с заказом, то был в запое, то занимался другим делом ... и, наконец, застрелился. Пришлось заказ отдать другому сапожнику - Ларьке Ванюздре, у которого я самым серьезным образом добивался сознания - не замыслил ли и он чего недоброго над собой, так уж лучше и не брался бы за работу, потому что время не терпит. Сбылась мечта – Ганку я «озолотил»!

Пауза.

Ещё у меня был дед вольнодумец и атеист.

(*читает*) «Дед мой, древний старик, был при смерти и желал проститься со мной. Я с дедом своим был большим приятелем с самого младенчества моего; он обращался со мной, как со взрослым, уча меня всяким рыцарским приемам: борьбе, бегу, лазанью, фехтованию на палках и железных прутьях, из которых он устроил нечто вроде шпаг или рапир. В фехтовании он был неподражаем: несмотря на мою отчаянную юркость и азарт, мне никогда не удавалось ударить его палкой - сколько бы я ни бился. Позволял он также бросать в себя всяким дубьем и так ловко лавировал, что всегда бывал неуязвим. Он же был первым провозвестником и направителем моих первых художественных устремлений.

Жил он больше 90 лет и до смертного одра был бодр, ясен, умен и добр. Редко с кем сходился, говоря, что сверстники его давно уже вымерли, а современники мелковаты. На детях же он основывал надежды возрождения крупного племени и любил возиться с нами. Мои отношения с ним были просто восхитительны, и я глубоко сознаю на себе его раннее и благотворное влияние.

Вот этот дед, Дмитрий Андреевич, умирая, звал своего Мишутку к себе попрощаться. Отец с Тишкой прислал письмо к нашему директору, прося отпустить меня на неделю. Дед часто уставал, т. е. уставало его внимание к нам, окружавшим его ложе, и забывался, впадая в тихую дремоту. Прекрасная голова с высоким, благородным лбом и крепкими кольцами белых, как снег, волос покоилась на подушке. Все притихали в эти моменты и на цыпочках удалялись, а я пристроился вылепить из глины его голову, и занимался этим с пафосом, с тем чувством, которое впоследствии я называл вдохновением.

Это была моя первая в жизни серьезная работа по скульптуре. Я с восторгом принимался за нее - двадцать раз в день, каждый раз работая по 5 или 10 минут. Глина была простая, желтая, и вместо скульптурных стек, о которых я тогда не имел ни малейшего понятия, инстинктивно действовал пальцами, обломками лучинок и обрывком грубой портянки... я отдавался творчеству страстно и безотчетно, увлекаемый какою-то, как я ранее назвал, высшею, внешнею волей. Под наплывом ее я холодел и горел, суетился, забывая сон, еду и физическое утомление.

Вот и в данном случае: говоря с угасающим дедом моим, я сознал, что вот-вот он замолкнет и перестанет дышать, а затем его положат в гроб и зароют в землю - этак ничего и не останется от него нам, живым. Ах! Надо бы, непременно надо сделать его подобие из чего-нибудь, из какого-нибудь подходящего материала!!! Ну, и загорелось сердце! Нужно только сделать как раз верную копию. Благо дед лежит смирно. Решено. Взяв кус глины, я «оболванил» его сначала в виде яйца, наподобие человеческой головы, и пристроил его покато на доске, под тем углом наклона, как лежит голова оригинала.

Целый час подряд дед был покоен, т. е. оставался в забытьи или дремоте. У меня кипела работа. Я наметил уже все части лица: и глазные впадины, и нос, и губы, щеки и одно, видное поверх подушки, ухо. Успел даже в общем обложить часть исхудалой шеи и помятый воротник сорочки. В ушах моих звенело. Я весь был в холодном поту, и кроме моей работы да покойного оригинала, т. е. спящей головы деда, для меня не существовало в этот час ничего во всем божьем мире. Да и к самой этой спящей голове я относился как к неодушевленному предмету, окончательно позабыв на это время, что это еще живой человек, любимый мой дедушка. Так что, когда ему пришлось слегка кашлянуть и прийти в себя, я страшно перепугался и вздрогнул. Только тут я почувствовал усталость и даже отчасти общее изнеможение. Дед попросил придвинуть и наклонить к нему мою работу, чтобы ему удобно было посмотреть на нее. Никогда я не забуду впечатления, которое произвела на него моя скульптура.

- Мишуха! Ты художник, - сказал он слабым голосом. - Стремись, чтобы мимо всех препятствующих тебе условий ты мог попасть в Академию художеств в Петербурге, учись... учись... - бормотал он коснеющим языком... - Человеком бу...

Он опять забылся.

«Художник, я художник!» - мелькало у меня в сознании, и я лихорадочно продолжал работу. Сначала я, прищуря глаза, следил только за тем, чтобы тени в углублениях моей глины, как, например, в глазных и щечных впадинах, а также под носом, и широкая тень под подбородком, на шее и воротничке сорочки, были похожи на те, каковыми они были в натуре, а затем, после следующих пробуждений и новых засыпаний деда, я оканчивал подробности складок кожи лица в тенях.

Целые сутки еще жил он, по временам приходя в себя. Со всеми по очереди простился, а с отцом и матерью даже минут по пяти говорил (он очень их любил). Остальное же время тихо позировал для окончания моего труда. Работа же час от часу подвигалась к концу. Я приступил уже к окончанию световых частей лица и лишь помаленьку трогал их тряпкой, делая легкие штрихи и удары для достижения полной окончательности. Маска лица вышла до того похожая, что и отец мой, и мать, да и сам я, взглядывая на нее, приходили в содрогание... трое суток я провел у его смертного одра безотлучно. Впервые, у этого одра, ощутил я - то блаженное и дотоле неведомое мне чувство, которое называется художественным вдохновением, - я вылепил из глины его голову; под моим пытливым взглядом он испустил последнее дыхание. Это была первая смерть на моих глазах, смерть человека, которого я всем своим юным сердцем глубоко любил». (*перестаёт читать*)

Пауза.

Прошли годы, и я успел поработать чертёжником на строительстве Московско-Варшавского шоссе, где меня заметил правительственный контрагент А.А. Вонлярлярский, и, оценив мои способности, 18-ти летнего отправил учиться на свои деньги в Петербургскую Академию художеств.

Пауза.

(*читает*) «Писать масляными красками я начал еще дома, в деревне, под первоначальным руководством бродячего иконописца Тита Андроныча. Этот милый, веселый и вечно подвыпивший старикашка научил меня самого приготовлять и тереть масляные краски, очищать и варить конопляное масло, грунтовать холст и даже делать деревянные подрамники.

Так вот, благодаря раннему знакомству с техникой масляной живописи, я мог на первых порах поступления в академию в баталический класс прямо приступить к живописи. Сюжетом для первой своей пробы я выбрал деревенскую сцену, подмеченную мною в какой-то чухонской деревушке (близ Петергофа), где мне случалось побывать у одного земляка, кавалерийского юнкера. Действующими лицами были чухонские дети и конно-гренадеры.

Со спертым дыханием, не чуя под собою ног от волнения, надежды и страха, не чувствуя ни голода, ни усталости, снес я свое первое произведение на выставку, поставил его в залах академии и замер в ожидании. Конечно, я не смел и подумать о какой-либо награде: верхом успеха мне представлялось уже и то, если б совет академии признал, что мое первое произведение может находиться на выставке. Думалось, авось и купит кто-нибудь мою картиночку себе на стену, да вдруг - как отвалит рублей 25?!

«Нет,- волновался я, - это будет уже слишком. Просто-напросто ее вынесут из зала выставки еще до ее открытия. Да так-то оно, пожалуй, и лучше».

Можно представить себе человека, юношу, находящегося в подобном моему положению, в момент, когда он узнает, что его произведение не только не вынесли с выставки, но совет академии присудил за него в награду автору «малую» серебряную медаль!!!

Я в один миг как будто на целую сажень вырос в собственных глазах. Я и плакал, и смеялся, в ушах звенело, голова шла кругом.»

Чтобы погасить долги, через сутки медаль была заложена академическому, семидесятилетнему гному Кирилке за 30 рублей, который был и правою, и левою рукой тогдашнего академического полицмейстера и инспектора классов. Но вскоре была выкуплена, потому что мою картину продали за 150 рублей. За пять лет, в которых много было изведано печалей и радостей; чаша бедности и лишений выпита была не раз до самого дна, и эта маленькая медалька множество раз хранилась в залогах как у частных лиц, вроде Кирилки, так и в государственном ломбарде.» (*перестаёт читать*)

Пауза.

В числе лучших выпускников академии я, получивший право на шестилетнюю стажировку в Италию, не принимавшись за дело, бездельничал, шатаясь по Петербургу. Благо деньги были, ведь мою дипломную работу, на которой были изображены конные гренадеры, купил сам император Николай I. С детства, обученный мамой игре на гуслях, фортепьяно и гитаре, сейчас я имел время петь и музицировать... (*поёт*)

Однозвучно гремит колокольчик,

И дорога пылится слегка,

И уныло по ровному полю

Разливается песнь ямщика.

И уныло по ровному полю

Разливается песнь ямщика.

Сколько грусти в той песни унылой,

Сколько чувства в напеве одном,

Что в груди моей хладной остылой

Разгорелося сердце огнём.

Что в груди моей хладной остылой

Разгорелося сердце огнём.

И припомню я ночи другие,

И родные поля, и леса,

И на очи, давно уж сухие,

Набежала, как искра, слеза.

И на очи, давно уж сухие,

Набежала, как искра, слеза.

Однозвучно гремит колокольчик,

Из дали отдаётся слегка,

И умолк мой ямщик, а дорога

Предо мной далека, далека.

И умолк мой ямщик, а дорога

Предо мной далека, далека...

Пауза.

В это время газеты сообщали, что объявлен конкурс сочинить памятник «1000 лет Российского государства». Срок до весны 1859 года. Награда 4000 тысячи рублей.

Пауза.

(*читает*) «Вызов на конкурс мы вместе прочли со Шредером за чаем в ресторане, кажется, Тихонова, на Набережной Васильевского острова, против Николаевского моста. «Ну, Шредер, вали! - сказал я. - Вот тебе достаточно важная задача».

- А ты будешь сочинять?

- Да ведь это не живописная задача и ко мне не относится.

 Почему не живописная? Разве не все равно - сочинять исторический сюжет в живописи или скульптуре? А ведь ты композитор. Знаешь, как сделаем: будем сочинять каждый особо, а потом сравним беспристрастно, чье сочинение будет лучшим, тот и молодец, - предложил Шредер.

В голове начали роиться формы и идея, и, придя в академическую мастерскую, я невольно начал делать наброски и схемы общих форм без всякого предположения, чтобы сочинение мое могло осуществиться. Это так, увлекло меня, что я очнулся только на следующее утро и понял, что я просидел за работой с девяти часов вечера до восьми утра. В общем, сочинение памятника было готово и главные группы тоже готовы почти в тех же формах, в каких они и сооружены. Глядя на рисунки, я понял, что они точно выражают заданную программу». (*перестаёт читать*)

Пауза.

Шредер признал, что моя идея лучше. С восторгом это подтвердил и другой мой друг Гартман.

Чтобы сэкономить время и не делать много акварельных рисунков, решили, что лучше вылепить одну скульптурную модель. Ура! Молодцы! Только были некоторые затруднения. Никто из нас ничего серьёзного не лепил, кроме мелких безделушек.

Пауза.

Отступать было не куда. (*читает*) «Эта работа продолжалась мною и Шредером в каком-то лихорадочном состоянии. Отсутствие опыта восполнялось такой пламенной энергией, на которую способна ретивая юность.

Наступил последний день срока представления проекта в помещение выставки в Академии художеств, этажом выше моей мастерской. Последние два дня мы со Шредером вовсе не спали и не раздевались хотя бы на несколько минут отдыха. Мой верный слуга Осип как-то достал в большом количестве кофе и чай, и мы, чтобы не заснуть над работой и возбудить нервы, пили наикрепчайшую заварку и днем и ночью. Но все-таки клевали носом, дремали или бессмысленно задумывались - спя, таким образом, с широко открытыми глазами. Василий (натурщик) то и дело расталкивал нас. В последнюю ночь мне пришлось сделать несколько аксессуаров из воска: мечей, скипетров, держав и других мелких вещей, которые нельзя было делать из мягкой глины. Я не знал способа, как приготовить воск специально для лепки, и лепил из свечного воска, разминая его в перстах. Это так трудно и больно, что через три часа работы требовался отдых для пальцев. Пальцы опухали, не шевелились, и на свои руки я уже не мог рассчитывать. Посмотрел на Шредера - он сидел, как мертвый, а Василий заснул, и я с горя заплакал - от боли, от отчаяния; плач превратился в рыдания, которые разбудили Василия. Он довел меня до умывальника и вылил на пылавшую голову кувшин холодной воды. То же и со Шредером; Василий подбодрил нас словом, напоил чаем, а в окно уже глядело утро. Многое в модели не было сделано, не окончено: приближался роковой момент, и надо тащить модель этажом выше, но оказалось, что она не проходит в дверь. Медведку надо было вытащить из мастерской (мы бережно поставили модель на медведку), но в дверь не проходит - модель выше на пол-аршина; надо было брать разрешение на ломку двери у академического полицмейстера. Глядя на эту возню, я подумал, как трудно и рискованно поднять эту мягкую сырую модель по узкой винтовой лестнице. Надо сказать, что это был всемирный конкурс, и иностранцы экспонировали свои проекты - все проекты уже были на месте, кроме нашего.

Я сел на диван у стола и говорю Шредеру:

- Ну, Иван Николаевич, я не могу присутствовать при почти верной гибели нашего труда. Не встану с места, пока не скажете мне, что она погибла или доставлена благополучно. Пусть с моделью пойдут Осип и Василий.

Но Шредер стал за моделью на медведку для поддержания от содрогания - так и тащили ее, а я, найдя под рукой карандаш и бумагу, зачертил эту сцену. Остался я один в пустой комнате. Мусор, обломки кирпичей, дверь валялись на полу. Повсюду следы грязных ног от глины и гипса в моей обыкновенно чистой и уютной мастерской. Из коридора не слышно шагов людей, тянущих модель. Тишина, а я сидел и тяжело думал. Я думал: не выиграть конкурса и не получить премии... жить в таком положении было невозможно. Все, что можно было заложить, - заложено, выкупить нечем; всюду задолжал, и это меня страшно томило и мучило. При проигрыше конкурса мне стыдно было бы куда-либо показаться. Заказов нет, и где их получить? А Шредер? Тому еще хуже. Не я ли увлек его обещанием половины заработка, и он работал с самозабвением и самоотверженно, как не работают за деньги, а только по дружбе. Он терпел тоже нужду.

В углу моей мастерской стоял большой мольберт высотою около сажени. Поглядел я на него и решил, что на нем легко покончить с собой. Глядел на него, и моему расстроенному воображению ясно представились висящих два трупа - Шредера и моего. Невольно я стал рисовать эту сцену как бы с натуры. Трупы эти уже совсем успокоились, провисев всю ночь до утра, когда в мастерскую, как обычно, входит мой старый Осип с чаем. Как увидит он и испугается, уронит поднос со стаканом, обварится. И такого испуганного Осипа я прибавил к рисунку. Потом лег на диван нераздетый, без подушки, я не помнил, как заснул непробудным сном и проспал 11 часов, т. е. до утра следующего дня, и, проснувшись, не мог понять, что со мной случилось. День ли, ночь, сумерки. Я оказался раздетым и прилично уложенным на подушках. На столе передо мной был вчерашний рисунок и несколько записок: от Гартмана, Хлебовского (Глебовского), Скирмунда и других товарищей с лаконическим словом «Поздравляю» и подпись. Тут, как буря, ворвался в отворенную дверь Шредер с Осипом и, задыхаясь, бросился ко мне в объятия, и мы покатились по дивану. Оказалось, что вчера было заседание первой комиссии, и оно еще в неоконченной форме признало первенство за моим проектом, а предстояло еще решение технической и еще какой-то, а потом одобрение государя. Но главное уже совершилось, и с этой поры началась новая эра моей жизни, о которой речь впереди».

Пауза.

Родителям в тот же день, найдя на это где-то деньги, я отправил депешу: «Рославль Осипу Микешину. Ура! Я получил первый номер. Комиссия утвердила проект. Завтра будет Государь. Надеюсь, совершенный успех, тогда извещу. Благодарите Бога. Миша». (*перестаёт читать*)

Из 52-двух проектов мой оказался самым лучшим! Я обошёл их всех в этом анонимном конкурсе! Это был успех? Да! Я был счастлив? Да! Но эйфория прошла, и наступили тяжёлые дни. Надо было выполнить колоссальную работу в короткий срок. Царь торопил и самолично контролировал рабочий процесс. Мы со Шрейдером работали день и ночь, выполняя самую ответственную, тяжёлую работу. Центральный барельеф был поручен ректору Академии художеств барону Клодту. «Сам Клодт рисовать не умел; специальность его - лошади, а на памятнике не было ни одной лошади. Он пригласил итальянца, который лепил ему фигуры.»

Пауза.

Царю не понравилась работа Клодта. (*читает*) «Государь, молча, осмотрел работу и на прощание - ни слова. Он был озадачен, повернулся и вышел. Я последовал за ним. Очутились вдвоем. Государь шел впереди меня, наклоня голову, остановился и спрашивает: «Какого ты мнения?». Я, задыхаясь, шепотом сказал: «Невозможно ставить». «Что же делать, как ты думаешь? У тебя есть идея, чем заменить это?» - спросил государь. Момент отчаянный, надо было идею составить моментально, и эта идея сразу пришла. Моя голова загорелась, и я сказал: «Я смел бы предложить всех достойных людей на этом барельефе представить, которые по разным отраслям знания, ума, науки и т. д. способствовали возвеличению России». Государь молчал. Затем он тихо сказал: «Это хорошо, ты мне уступишь эту идею?» Я не понял, что он сказал. Он повторил: «Ты желаешь уступить мне эту идею?». Я молчал. «Я не хотел бы обидеть старика, но я поручаю тебе исполнить это как мою идею». Тут я понял и покраснел. Государь добродушно взглянул на меня - это было при публике: народ был всюду и на крышах. Государь сел в экипаж, вокруг которого стояла огромная толпа. Я был у экипажа, и он промолвил: «Сегодня же», - и уехал, а я пошел к себе в мастерскую. В этот день явился ко мне фельдъегерь от министра Двора с бумагой, «что Его Величество, обозрев работы памятника 1000-летию России, поручает Вам сочинить барельефы, сообразно личной воли Его Величества, переданной Вам во время посещения Вас Его Величеством». Фельдъегерь говорит: «Другой пакет барону Клодту». Я спрашиваю его: «Вы знаете, что тут?» - «Знаю, - говорит, - пакет не запечатан». Я спросил: «Можно знать, что тут?». «Можно, ведь он не запечатан». Я прочел и узнал, что Клодту предложили прекратить работу до дальнейшего распоряжения его величества.

Дело кончилось тем, что Клодту заплатили стоимость работы, которую он выполнил. Сделано очень деликатно, и барон не потерпел убытка. Потом Клодт догадался и гадил мне за это, так как был членом Совета академии». (*перестаёт читать*)

Пауза.

Чтобы выполнить работу в срок пригласил помочь мне Костомарова, Буслаева, Бестужева-Рюмина, Погодина и Максимовича и они согласились мне помочь.

(*читает*) «Я в это время много читал и работал. Днем в Публичной библиотеке, а вечером зажигал десяток ламп и оставался с натурщиком Василием. Рисунок барельефа был на непрерывной бумаге, наклеенной на самой длинной доске, какую я только мог найти на лесном дворе. Натурщиком я пользовался, чтобы иметь лиц для барельефа, так что этот Василий превращался в Марфу-Посадницу, Екатерину II и прочих, и я работал не менее 20 часов в день.

После месяца работы (я работал голый: было жарко в мастерской, т. к. горело 10 - 15 ламп; питался я в это время только чаем и кофе с хлебом, который верный слуга Осип доставлял) получил запрос от государя, когда он может осмотреть барельефы.

Контуры на рисунке делал пером. Я должен был с рисунком явиться к 9 часам утра в Зимний дворец прямо к государю в кабинет. В последний день я должен был сделать еще очень многое и всю ночь работал, и успел только вымыться, причесаться, кое-как меня одел натурщик, повязал как-то галстук и посадил в карету.

Когда шел по лестнице, то шатался, как пьяный, проходя до зала. Перед кабинетом были высшие чиновники, министры и среди них, помню, был Суворов, который со мною поздоровался и указал мне на кабинет государя. Он ждал меня. Через Чевкина государь знал о всех помещенных лицах и о некоторых изменениях, внесенных мною». (*перестаёт читать*)

За 1000 лет истории России накопилось множество значимых персон, которые были достойны получить своё место на памятнике посвящённому величию России. Сооружение Памятника проходило в довольно-сложной обстановке, в обстановке борьбы прогрессивных сил с реакционными; при этом главным вопросом, подвергавшимся дебатам, был вопрос об идейно-политической направленности и содержании Памятника. Памятник назывался Народным, но на первом месте должно быть возвеличивание незыблемости самодержавия в России, после народных восстаний накануне реформ отмены крепостного права. Из-за этого начались грандиозные словесные баталии. Бесконечные жаркие споры. Одним не нравилось, кого я поставил в список, а мне не нравились те, кого хотели внести в список. На меня даже пришёл донос из Киева - «...что я оскорбляю русскую историю и русский народ. Мне показали его и спросили, что я отвечу? Я молчал.»

Я молчал во всех даже самых высоких кабинетах и перед очень большими вельможами. Так долго продолжаться не могло и меня потребовали явиться к Великому князю Константину Николаевичу, пятому ребёнку и второму сыну в царской семье Николая Первого. После его рождения был обнародован высочайший манифест, объявивший о рождении царского «сына, нареченного Константином, впредь ему надлежало именоваться «Его Императорским Высочеством».

Пауза.

(*читает*) «Он принял меня в Мраморном дворце в бильярдной комнате. Он вышел из своего кабинета, сел на угол бильярда и сказал: «Скажи причины, почему не помещаешь покойного батюшку?». «Если Вы ставите этот вопрос на почву родственности, то я не могу говорить». «Ну, как же ты хочешь?» «Я хочу, чтобы на время разговора забыть, с кем я говорю, чтобы мог говорить без страха и боязни». «Хорошо, говори». В комнате не было никого, кроме нас. За спиной великого князя была дверь. Вот, когда он дал мне говорить, я попросту и говорю:

«Ваше высочество, личность покойного государя до того близка к нашему времени, что нельзя к ней беспристрастно отнестись. Есть множество голосов, которые в его правление находили утеснение русской мысли, а другие страстно превозносят его. Во всяком монументе, который должен выражать личности, еще рано его изображать, так как монумент ему рано открывать».

Перед этим у меня с его величеством (Константином Николаевичем) был разговор о моряках, которые были у меня вычеркнуты, и я просил о них, и за Чичагова Екатерининского просил, так что разговор этот долго продолжался, и, кроме того, я торопился говорить, и это ужасно утомило меня.

Великий князь сказал: «Но ведь не посмотрят на твое желание, и ты должен поместить батюшку». Я отказался, сказав, что не могу быть насилуем как исторический художник, не могу делать то, что не желаю, и сил нет, которые бы меня заставили это сделать. Но есть люди и между художниками, для которых ничего не значат исторические взгляды, - заплатите им, и они сделают на том же барельефе, что вы пожелаете, но отсохнут мои руки, если это сделаю я.

Заплатили Залеману, и он изобразил фигуру Николая I в казацком мундире рядом с Александром I». (*перестаёт читать*)

1 сентября 1860 года царём был утверждён список из 128 исторических персон. В него вошли князья Рюрик, Владимир Мономах, Дмитрий Донской, Иван III, Минин и Пожарский, Петр I. ... выдающиеся русские полководцы Александр Невский, Суворов, Нахимов, Кутузов, а также Ломоносов, Пушкин, Глинка, Брюллов и другие прославленные личности.... не вошёл Иван Грозный, Павел Первый, не поместили в перечень достойных и замечательных русских зодчих А.Н. Воронихина, происходившего из крепостных, А. Д. Захарова, вычеркнув из списка даже прославленного адмирала Ф. Ф. Ушакова и Иллариона – первого митрополита из числа русских людей в Киевской Руси...

Не нашлось места на памятнике моему любимому Тарасу Шевченко «ничья народная лира наших славянских поэтов не делала на меня такого глубокого и хорошего впечатления, как произведения Шевченко». (*перестаёт читать, декламирует стихи*)

«Проходят дни… проходят ночи;

Прошло и лето; шелестит

Лист пожелтевший; гаснут очи;

Заснули думы; сердце спит.

Заснуло все… Не знаю я —

Живешь ли ты, душа моя?

Бесстрастно я гляжу на свет,

И нету слез, и смеха нет!»

Пауза.

Зато я был рад что утвердили Н.Гоголя, без которого трудно представить нашу Матушку-Россию...

(*декламирует*) «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все! » — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны...»

Пауза.

Модели Памятника еще в процессе их изготовления подвергались тщательному контролю со стороны членов Художественного совета, созданного при Академии художеств. Клодт, помня нанесенную ему обиду, а вместе с ним и сочувствующий ему Пименов, пытались опорочить работу молодых художников. Критике подвергался не так общий замысел Памятника, как отдельные его детали, которые по мнению маститых профессоров, были либо плохо исполнены, либо неверно поставлены. Упрекали меня, скульптора Микешина, в том, что я осмелился взять на себя такую ответственную работу, которую следовало бы поручить «самым лучшим художникам, представителям надлежащей степени прогресса отечественной скульптуры нашего века» Звучало требование остановки работ.

Пауза.

В результате обследования, о котором идет речь, совет вынес следующее постановление: «Принимая во внимание назначенный короткий срок для исполнения колоссальных статуй и недостаток опытности молодых художников, Микешина и Шредера, нельзя, однако, не отдать полной справедливости их усердию потому, что сделать более того, сколько ими исполнено в 5 месяцев, не могли бы художники, обладающие и большими, чем они познаниями».

Исправив все недостатки, к концу 1861 года все колоссальные фигуры были вылиты из гипса и установлены в литейной мастерской в Петербурге на заводе Плинке и Никольса, готовые к отливке в бронзе. Те же фабриканты, Никольс и Плинке, взяли на себя подряд и на отливку бронзовой решетки по проекту, сделанному профессором Боссе, а также шести фонарей на бронзовых канделябрах.

28 мая 1861 года в торжественной обстановке, в присутствии представителей из Петербурга и высшей администрации губернии, при моём присутствии, под верхним рядом фундамента был заложен гранитный камень с вырубленным в нем углублением для бронзового ящика с доской, на которой вырезана надпись, указывающая назначение Памятника и время его закладки. В этот ящик были положены главнейшие медали, выбитые в царствование Александра II, а также золотые и серебряные монеты, отчеканенные в 1861 году.

Вся наружная часть пьедестала состоит из серого сердобольского гранита, тщательно отделанного полировкой. Сердобольский гранит доставлялся из Сердоболя через Ладожское озеро в г. Ладогу и потом по Волхову в Новгород. Доставка сердобольского гранита была связана с большими трудностями в особенности при прохождении через Волховские пороги, так как отдельные его камни были огромных размеров, весом до 2 тыс. пудов. Нижний цоколь пьедестала составлен из трех рядов, в каждом по шести цельных камней. Цоколь стоит на фундаменте из бутовой плиты, заложенном на глубину 2 сажени с прокладкой сверху тесаного гранита.

Вокруг Памятника был устроен тротуар из сердобольского камня, шириною в 1 сажень, который примыкает непосредственно к цоколю Памятника. В расстоянии 6 сажен от Памятника, вокруг него, на гранитном цоколе установлена бронзовая решетка, высота которой составляет 1 аршин 12 вершков. Кроме того, тротуар устроен и вокруг решетки, а от него вымощен переход к двум противоположным воротам Кремля и к зданию Присутственных мест. За тротуаром вокруг решетки установлены шесть фонарей на бронзовых канделябрах, закрепленных в каменных основаниях из бутовой плиты шестиугольной формы, покрытых сердобольским гранитом.

Сумма на сооружение Памятника устанавливалась в размере 500 тысяч рублей. Подписка пожертвований продолжалась с 1857 по 1862 год. Народ жертвовал на Памятник свою трудовую копейку. Вносимые пожертвования в среднем составляли от полкопейки до 15 копеек серебром. Путем пожертвований удалось собрать всего 150 тысяч рублей. В итоге памятник обошёлся в 550 тысяч, разницу доплатило правительство.

В окончательном виде Памятник получился грандиозным: имел форму колокола и содержал 128 человеческих фигур. Скульптурные изображения делятся на три уровня, которые венчает монумент - фигура стоящей на коленях перед ангелом с крестом женщины, олицетворяющей Россию. Держава украшена рельефным орнаментом из крестов (символ единения церкви и самодержавия) и опоясана надписью: «Свершившемуся тысячелѣтію государства Россійскаго въ благополучное царствованіе императора Александра ІІго лѣта 1862». Памятник получился высотой в 7 саженей, окружностью горельефа 12,5 сажень с общим весом 600 000 пудов!!! Смотрелось всё это величественно и мощно!

Пауза.

Справедливости ради отмечу, что, несмотря на, казалось бы, всеобщее признание, критика демократического толка, будучи против самой идеи установки подобного памятника, вовсе не одобрила его. В частности, известный критик В.В. Стасов охарактеризовал его как монумент русскому самодержавию, не увидев в нём никаких художественных достоинств. Конечно, это было не приятно, но как говорится: на каждый роток не накинешь платок.

Пауза.

Ко дню открытия Памятника «1000 – летия России» Новгород на память о торжествах получил практичный подарок — город был отремонтирован, заново замощен и впервые выпустил путеводитель.

8 сентября 1862 года утром было дано 5 артиллерийских залпов. На площади перед Памятником был устроен парад войск. Для народа устраивались гулянья. Город был разукрашен флагами, вечером зажглась иллюминация из 120.000 шкаликов и плошек. Повсюду горели свечи, светились транспаранты, устраивались фейерверки. Особенно большой эффект представляла собой иллюминация баржи у Волховского моста. На ней стоял плакат с изображением Памятника в натуральную величину, освещенный 5000 огней.

Открытие Памятника «Тысячелетию России» на Софийской площади в Великом Новгороде состоялось в присутствии царя, царской семьи, его свиты, высших чиновников и новгородской знати, при большом стечении народа. Об этом известил салют из 62-х орудий. Праздник длился три дня. Царь участвовал в крестном походе, встречался с местным дворянами, принял хлеб-соль, преподнесённые на деревянном блюде ему крестьянской депутацией. Затем он посетил гимназию и приют, и за этим последовал обед, а вечером бал. Царская особа затмила создателей Памятника «1000 –летие России», но мы были не в обиде и громче всех пели «Боже, царя храни...»

Я был счастлив и горд! За свой труд был награжден орденом святого Владимира 4-й степени и пожизненным пенсионом в 1200 рублей серебром в год. Самое главное я получил признание как скульптор и не только в России. На меня посыпались заказы и звания. Это было слишком много для молодого человека, которому не было даже 30 лет. Очень жаль, что об этом не узнал мой любимый дед, которой первым оценил мой талант и напророчил мне стать художником...

Так же и я не узнал, что было сказано на моих похоронах: «Микешин — наш Леонардо», и что станет с моими работами в будущем. 31 января 1896 года стал моим последним днём в моей жизни, но не в жизни России. У меня получилось не так много личных страниц в истории России.

Пауза.

Зато тысячу страниц государства Российского я смог увековечить! Жалею лишь об одном, что зря я пытался вырвать из её истории отдельные страницы. История России это наша память и каждая её страничка, должна быть на своём месте и беречься как драгоценность...

Что мы без прошлого? Безымянная дорожная пыль...

*Занавес.*